

Об отношениях между историей овеществлённой и историей инкорпорированной

1980

“ Как в королевских и герцогских семьях со смертью главы семьи его титул переходит к сыну и из герцога Орлеанского, принца Торонтского или принца Ломского он превращается в короля Франции, герцога Тремайльского, герцога Германтского, так, часто в результате восхождения иного порядка и из более глубоких истоков мёртвый хватает живого, который становится внешне похожим на него наследником, продолжателем его не прекращающейся жизни.

М. Пруст. В поисках утраченного времени.

“ Право иметь своих представителей было установлено в 1936 году. Завоёванное в забастовках, оно в действительности было введено в силу декретом 1945 года. Заводы «Рено» во Флинсе открылись в 1952 году. Следовательно, во Флинсе синдикализм не имеет традиции организаций «без представителей». Уже одно это осложняет дело.

Н. Дюбост. Флинс без конца.

Философия истории, которая запечатлена в самой обыденной практике повседневного языка и которая стремится к тому, чтобы слова, обозначающие институты и коллективы — Государство, Буржуазия, Патронат, церковь, Семья, Правосудие, Школа, — конституировались в исторические субъекты, способные формулировать и реализовывать собственные цели («Государство — буржуазное — решает...», «Школа — капиталистическая — исключает...», «Церковь Франции борется»... и так далее), находит своё высшее воплощение в понятии Apparata с большой буквы, вновь вошедшем сегодня в моду в так называемых «концептуальных» речах. В качестве механического исполнителя исторической целесообразности Deus (Diabolus) in machina «Аппарат», эта — в зависимости от

идеологического настроя — божественная или адская машина, этот функционализм наилучшего и наихудшего толка, предрасположен к функционированию как Deus ex machina, «пристанище для незнания», конечная причина, способная — причём с наименьшими затратами — все оправдать, ничего не объясняя.

Следуя этой логике, являющейся не чем иным, как логикой мифологии, великие аллегорические образы господства не могут не вызвать в противовес себе лишь другие мифические персонификации, такие как Рабочий класс, Пролетариат, Трудящиеся или даже Борьба — олицетворение Социального движения и его мстительного гнева [1]. Если эта версия теологической философии истории, пожалуй, не столь далёкая, как это может показаться, от выражения морального негодования — «всё это неслучайно», — могла и может ещё представляться интеллектуально приемлемой, то потому, что является отражением и выражением диспозиций, входящих составной частью в «философскую позицию», какой она определяется в данный момент времени процессами отбора и становления профессиональных философов. Она действительно удовлетворяет как требованию высокого «теоретизирования», вдохновляющего на парение над фактами и на пустые и поспешные обобщения [2], так и герменевтической претензии, заставляющей искать сущность за видимостью, структуру — по «ту сторону» истории и всего того, что её собственно определяет, то есть всех этих расплывчатых, вязких и двусмысленных реальностей, которыми загромождены общественные науки — дисциплины, носящие вспомогательный и обслуживающий характер, годные на то, чтобы поставлять «пищу для размышления», и постоянно подозреваемые в сговоре с реальностью, к познанию которой они стремятся. Так, Альтюссер под предлогом теоретической реставрации возродил в лоне марксистской ортодоксии осуждение, налагаемое на всех тех, кто уже самим фактом исследований свидетельствовал, что ещё не всё найдено. Убивая одним выстрелом двух зайцев, он усиливал, если в этом была необходимость, то презрительное и настороженное отношение к «так называемым общественным наукам» — этим плебейским и навязчивым научным дисциплинам, которое философская ортодоксия никогда не прекращала исповедовать.

Низводить агентов до роли исполнителей, жертв или соучастников политики, запечатлённой в сущности аппаратов, это значит обосновывать выведение существования из сущности, черпать знания о поведении в описаниях Аппарата и тем самым экономить на наблюдениях практики и отождествлять исследовательскую работу с чтением докладов, принимаемых за реальные матрицы практики. Если верно, что склонность трактовать социальный универсум как Аппарат соразмерна временной удалённости, обрекающей на объективность, и невежеству, упрощающему видение, то понятно, почему историки, склонные, впрочем, в силу их положения в университетском пространстве к менее амбициозным теоретическим устремлениям, оказываются и менее склонными к героизации коллективных сущностей. Их видение предмета тем не менее, ещё очень часто определяется их отношением к нему. И это прежде всего потому, что выработка позиции в отношении прошлого коренится в неявно принятых позициях по отношению к настоящему (наиболее полный пример тому — Французская революция) или, точнее, к интеллектуальным противникам в настоящем (в полном соответствии с логикой дуплета, вписанной в относительную автономию пространств культурного производства). Кроме того, историки не всегда избегают некой утончённой формы мистификации: во-первых, потому,

что завещанная Мишле амбиция воскрешать прошлое и воссоздавать реальность, а также подозрительность по отношению к концептам склоняют их к интенсивному использованию метафор, о которых известно со времён Макса Мюллера, что они чреватые мифами; и затем, потому, что само их положение специалистов в области источников и истоков подталкивает к тому, чтобы поместиться в мифической логике истоков и первоначал. К обычным мотивам, склоняющим к осмыслению истории как поиску ответственности, добавляется в этом случае и своего рода профессиональная привычка: в противоположность деятелям искусств — авангардистам, которых она подталкивает к бегству вперёд, поиск отличительного превосходства побуждает историков погружаться всё дальше в прошлое, показывать, что всё началось гораздо раньше, чем считалось, обнаруживать предшественников у предвестников, у предзнаменований — предвестий [3].

Достаточно подумать о вопросах, подобных вопросу о зарождении капитализма или о появлении современного типа художника, несомненный успех которых не объяснить, если бы они не способствовали regressum ad infimiluni превосходства эрудита. Эти результаты логики, присущей производственному полю, часто комбинируются с воздействием политического настроения, вдохновляя на окончательные «инвестиции», которые скрываются за выработкой позиций по столь нечётко сформулированным проблемам, что могут служить поводом лишь для нескончаемых споров. Например, вопрос о том, следует ли приписывать появление первых мер социальной защиты доброй воле «филантропов» или «борьбе трудящихся», или же вопрос о влиянии — плодотворном или угнетающем, которое якобы оказала королевская власть на французскую живопись XVII века. Безупречно аргументированные и со всей учёной строгостью документированные вердикты могут служить оправданием враждебного отношения к королевскому абсолютизму со стороны республиканских профессоров конца XIX века либо — сегодня — для молчаливых намёков на светское государство [4]. Или проблема временной границы между Средневековьём и эпохой Возрождения, работами по которой заполнены библиотеки и которая продолжает всё ещё вызывать споры между «либералами», стремящимися чётко обозначить разрыв между Тьмой и Светом, и теми, кто настаивает (прежде всего францисканцы) на средневековых истоках Возрождения...

Действительно, склонность к политико-теологическому видению, позволяющая то ругать, то хвалить, то осуждать, то оправдывать прошлое, приписывая доброй или злой воле его свойства, зависит от того, в какой степени прошлое рассматриваемых институтов выступает в качестве целей и инструментов борьбы, ведущейся с помощью этих самых институтов, в социальном пространстве, где помещается историк, то есть в поле социальной борьбы, самом более или менее автономном по отношению к этой борьбе [5]. Склонность осмысливать исторический поиск в логике процесса, то есть как поиск истоков, ответственных и даже виновных, составляет основу телеологической иллюзии, точнее, той формы ретроспективной иллюзии, которая позволяет приписывать намерения и умыслы индивидуальным агентам и персонализированным коллективам. И в самом деле нетрудно, когда известно заключительное слово, трансформировать исход истории в цель исторического действия, а объективное побуждение, выявившееся лишь в конце, после борьбы, — в субъективное намерение агентов, в сознательную и расчётливую стратегию, жёстко ориентируемую поиском того, что в конце концов происходит, — учреждая тем самым суд истории, то есть суждение, вынесенное историком, как Божий суд.

Так, вопреки телеологической иллюзии, неизменно встречающейся в сочинениях, посвящённых Французской революции [6] анализ, проведённый Полем Буа, убедительно показывает, что в случае с сартуазским бокажем даже самые великодушные меры (как отмена нескольких налогов, которыми облагались крестьяне) понемногу искажались и перетолковывались в силу логики поля, в пределах которого они проводились [7]. Тот факт, что абстрактный, формальный и, если можно так выразиться, «идеалистический» характер мер, принятых в полном неведении относительно условий их реализации, способствовал их парадоксальному переименованию по ошибке, в результате которой они в конечном счёте обернулись к выгоде их авторов или — что уже далеко не то же самое — к выгоде их класса, вовсе не даёт основания видеть в этом продукт циничного расчёта и — в ещё меньшей мере — своего рода чудо «буржуазного» бессознательного.

Важно понять, что существует отношение между данными мерами (или габитусом, характерным для определённого класса, который здесь выражается, например, в форме универсализма или формализма их намерений) и логикой поля, где зарождаются связанные с габитусом, но никогда к нему полностью не сводимые, ответные реакции. Причина и смысл какого-либо института (или какой-либо административной меры) и его социальных последствий заключаются не в «воле» индивида или группы, но в поле антагонистических и взаимодополняющих сил, где в зависимости от интересов, связанных с различными позициями, и от габитусов занимающих их агентов зарождаются «воли», а также где в борьбе и посредством борьбы непрерывно определяется и переопределяется реальность институтов и их предвиденных и непредвиденных социальных воздействий. Особая форма ретроспективной иллюзии, которая приводит к иллюзии телеологической, способствует тому, что объективно целенаправленное действие габитуса выглядит как продукт сознательной, расчётливой и даже циничной стратегии — стратегии объективной, успех которой часто зависит именно от её неосознанности и «незаинтересованности». Подобным образом те, кто добиваются успеха в политике или даже в искусстве и литературе, в ретроспективном плане могут восприниматься как вдохновенные стратеги, тогда как то, что объективно было рациональным инвестированием [капитала], могло переживаться ими как рискованное пари и даже как безумие. Требуемая и производимая принадлежностью к определённому полю, *illusio* исключает цинизм, и агенты практически никогда не обладают явно сформированным умением пользоваться механизмами, практическое овладение которыми является условием их успеха: так, например, наблюдаемые в рамках литературного поля и поля искусства реконверсии — переход от одного жанра к другому, от одной манеры к другой и так далее — переживаются (и должны, по-видимому, переживаться, чтобы преуспеть) как конверсии. Короче, обращение к понятию стратегии, позволяющему порвать с хорошо обоснованной иллюзией незаинтересованности, а также со всеми формами механизма — будь то механизм *Deus in machina* — не предполагает возврата к какой-либо наивной форме телеологизма или интеракционизма.

Для того чтобы избежать губительных альтернатив, в рамках которых оказалась заключённой история (социология) и которые, подобно противоположности между событийным и долговременным или — в другом измерении — между «великими людьми» и коллективными силами, единичными волями и формами структурного детерминизма, основываются на различии между индивидуальным и социальным, отождествляемым с коллективным, достаточно обратить внимание на то, что любое историческое действие

ставит нас перед лицом двух состояний истории (или социального): истории в её объективированном состоянии, то есть истории, в течение длительного времени аккумулятивной в вещах, машинах, зданиях, памятниках, книгах, теориях, обычаях, праве и так далее, и истории в её инкорпорированном состоянии, ставшей габитусом. Тот, кто приподнимает шляпу, в знак приветствия, воскрешает, сам того не сознавая, условный знак, доставшийся в наследство от Средневековья, когда, как об этом напоминает Пановский, рыцари имели обычай снимать шляпу, демонстрируя этим свои мирные намерения [8].

Такая актуализация истории является фактом габитуса, продукта исторического овладения, позволяющего обладать историческим опытом. История в смысле «ges «gestae» есть история овеществлённая, влекомая, приводимая в действие, реактивируемая воплотившейся историей, и которая в свою очередь приводит в действие и несёт то, что несёт её самое (в соответствии с диалектикой несущего и несомого, хорошо описанной Николаем Гартманом) [9]. Подобно тому, как письмо вырывается из состояния мёртвой буквы только благодаря акту его прочтения, что предполагает и стремление его прочесть, и обладание навыками чтения и расшифровки заключённого в письме смысла, институтировавшаяся, объективированная история становится историческим действием, то есть историей, приводимой в действие и действующей, если только за её осуществление принимаются агенты, которых к этому предрасполагает их история и которые в силу своих предыдущих «капиталовложений» склонны к тому, чтобы интересоваться её функционированием и обладают способностями, необходимыми для того, чтобы заставить её функционировать. Отношение к социальному миру является не отношением механической причинности, часто устанавливаемым между «средой» и сознанием, а своего рода онтологическим соучастием: когда одна и та же история преисполняет и габитус, и среду обитания, диспозиции и позицию, короля и его двор, хозяина предприятия и его предприятие, епископа и епархию, история неким образом сообщается с самой собой, отражается в себе самой, самоотражается. История — «субъект» раскрывается самой себе в истории — «объекте»: она узнает себя в «допредикативных», «пассивных синтезах», в структурах, структурированных до любой структурирующей операции и любого лингвистического выражения. Доксическое отношение к родному миру, эта своего рода онтологическая ангажированность, устанавливаемая практическим смыслом, есть отношение принадлежности и владения, в рамках которого тело, освоенное историей, присваивает себе самым абсолютным и непосредственным образом вещи, пронизанные той же историей [10].

Изначальное отношение к социальному миру, в котором, то есть через и благодаря которому, мы создаёмся, есть отношение владения, предполагающее владение объектами обладания своим владельцем. Только когда наследство завладело наследником, как говорит Маркс, наследник может завладеть наследством. И это осуществляемое наследством овладение наследником и овладение наследником наследством, которое является условием присвоения наследником наследства (в чём нет ничего ни механического, ни фатального), происходит под совместным воздействием типов усвоения, вписанных в положение наследника и воспитательную деятельность предшественников — ставших в своё время присвоенными собственниками. Унаследованный, присвоенный наследством наследник не имеет надобности выражать свою волю, то есть рассуждать, выбирать и сознательно принимать решения, чтобы делать то, что соответствует и отвечает интересам наследства,

его сохранения и приумножения. Строго говоря, он может не осознавать ни того, что делает, ни того, что говорит, и (тем не менее) не делать и не говорить ничего такого, что не согласовалось бы с требованиями наследства.

Людовик XIV столь полно отождествлял себя со своей позицией в том гравитационном поле, солнцем которого он являлся, что было так же тщетно пытаться определить, что из всех действий, происходивших в поле, было, а что не было продуктом его воли, как пытаться в исполняемом музыкальном произведении определить, что является заслугой дирижёра, а что — музыкантов оркестра. Его воля к господству сама продукт поля, над которым она господствует и которое всё оборачивает в свою пользу: «Приближённые, пленники сетей, расставившихся ими друг для друга, как бы поддерживали, так сказать, друг друга в своих позициях, даже если они и переносили саму систему лишь скрепя сердце. Давление, которое оказывали на них нижние или менее привилегированные слои, заставляло их защищать свои привилегии, И наоборот, давление, оказываемое сверху, подталкивало менее удачливых к тому, чтобы избавиться от него, подражая тем, кто достиг более выгодной позиции. Другими словами, они вступали в порочный круг соперничества из-за положения. Тот, кто имел право первым войти к королю, подать ему сорочку, презирал того, кто входил третьим и ни под каким предлогом не хотел ни в чём ему уступать, принц чувствовал себя выше герцога, герцог — выше маркиза, а все они вместе, как члены «дворянства», не хотели и не могли уступать простолюдникам, платившим налог. Одна установка порождала другую. Благодаря эффекту действий и противодействий социальный механизм уравнивался, стабилизировался в некоем нестабильном равновесии» [11]. Таким образом, «Государство», ставшее символом абсолютизма и в высшей степени представлявшее — в глазах самого абсолютного монарха, самым непосредственным образом заинтересованного в таком представлении («Государство — это я») — внешнее проявление Apparata, в действительности скрывает поле борьбы, в которое обладателю «абсолютной власти» приходится самому вмешиваться в степени достаточной, чтобы поддержать размежевания и напряжённости, то есть само поле борьбы, и мобилизовывать энергию, порождаемую равновесием напряжённостей.

Принцип вечного движения, возмущающий поле, заключается не в каком-либо первичном неподвижном двигателе — в данном случае королесолнце, — а в самой борьбе, которая, возникая под влиянием составляющих поле структур, воспроизводит и эти структуры, и иерархические отношения. Он заключается в действиях и противодействиях агентов, у которых, если они только не выходят из игры и не уходят в небытие, не остаётся иного выбора, как бороться, чтобы сохранить или улучшить свою позицию в поле, то есть чтобы сохранить или даже прирастить специфический капитал, который зарождается только в поле, способствуя тем самым сохранению давления на всех других, принуждений, порождаемых конкуренцией, которые часто переживаются как невыносимые [12]. Короче, никто не может извлечь выгоды из игры, включая и тех, кто в ней господствует, не вступив в игру и не увлечшись игрой: это означает, что не было бы игры, если бы не вера в игру, и если бы не воля, намерения и устремления, которые движут агентами и которые, производимые игрой, зависят от позиций последних в игре, точнее, от их власти над объективированными проявлениями специфического капитала — того, что контролируется и манипулируется королём, пользующимся той степенью свободы в игре, которую она ему оставляет [13]. Те, кто относит, как, например, функционализм наихудшего толка,

последствия доминирования на счёт единой и центральной воли, отказываются замечать вклад, вносимый агентами (включая доминирующих) — хотя бы они того или нет, знают они об этом или нет, — в осуществление господства благодаря отношению, которое устанавливается между их диспозициями, связанными с их социальными условиями производства, и ожиданиями и интересами, вписанными в занимаемые ими позиции внутри полей борьбы, стенографически обозначаемых такими словами, как Государство, церковь или Партия [14].

Подчинение целям, значениям или интересам, являющимся трансцендентными, то есть стоящими над и вне индивидуальных интересов, практически никогда не бывает результатом императивного принуждения и осознанного подчинения. И это потому, что так называемые Объективные цели, в лучшем случае обнаруживающиеся лишь после события и лишь внешним образом, изначально практически никогда не осознаются и не ставятся в качестве таковых в самой практике ни одним из затрагиваемых агентов, даже когда речь идёт о тех, кто более всего заинтересован в осознании своих целей, — о доминирующих. Подчинение совокупности практических действий какому-либо одному объективному намерению — это своего рода дирижирование в отсутствие дирижёра, осуществляется лишь благодаря согласию, устанавливаемому как бы вне агентов и поверх их голов между тем, что они есть, и тем, что они делают, между их субъективными «призваниями» (тем, ради чего они чувствуют себя «сотворёнными» — «faits»), и их объективной «миссией» (тем, чего от них ждут), между тем, что история из них сделала, и тем, что она от них требует делать, — согласию, которое может выражаться либо в ощущении находиться вполне «на своём месте», делать то, что должны делать, и делать это с радостью — в объективном и субъективном смысле — либо в покорной убеждённости, что невозможно делать другое, что также является — разумеется, менее радостным — способом ощущать, что создан для того, что делаешь.

Объективированная, институционализированная история становится действующей и активной только тогда, когда должность — но также орудие труда, или книга, или даже «роль», социально предписанная и одобренная («подписать петицию», «принять участие в манифестации»), или исторически утвердившийся «персонаж» (интеллектуал-авантюрист или добропорядочная мать семейства, честный функционер или «человек слова») — находит кого-то (подобно одежде или дому), кто находит это интересным и находит здесь свой интерес, кто самого себя находит и узнает себя в этом настолько, что способен отождествиться с ней и взять на себя [15]. Именно поэтому столько действий — и не только действий функционера, отождествляемого с его функцией [16], — предстают как церемонии, посредством которых агенты — не являющиеся, однако, актёрами, исполняющими роли, — воплощают социальный персонаж, которого от них ожидают и которого они ожидают сами от себя (это призвание), и всё это благодаря тому полному и непосредственному совпадению габитуса и одежды, которая и делает человека настоящим монахом.

Официант не играет в официанта, как того желает Сартр. Надевая свою рабочую одежду, прекрасно выражающую демократизированную и бюрократизированную форму преданного, исполненного достоинства слуги богатого дома, и придерживаясь церемониала предупредительности и участливости, который может быть стратегией, маскирующей

опоздание, оплошность или позволяющей сбыть негодный продукт, он не превращается в вещь (или «вещь в себе»). Его тело, в котором запечатлена определённая история, приноравливается к функции, то есть к некоей истории, традиции, которые он никогда не наблюдал иначе, как воплощёнными в телах или, вернее, в одеждах, «заселённых» неким габитусом, именуемым официантами кафе. Это не означает, что он научился быть официантом, подражая другим официантам, конституировавшимся таким образом в модели. Он отождествляет себя с функцией официанта, как ребёнок отождествляет себя со своим отцом (социальным) и, даже не нуждаясь в том, чтобы «прикидываться», принимает характерное выражение губ при разговоре или поводит плечами при ходьбе, что, как ему кажется, является составной частью социальной сущности сложившегося взрослого человека [17]. Нельзя даже сказать, что он считает себя официантом: он слишком поглощён функцией, которая была ему естественно (то есть социологически) предписана (например, как сыну мелкого коммерсанта, которому необходимо заработать, чтобы основать самостоятельное дело), чтобы осознать эту дистанцию. В то же время стоит в его положении оказаться какому-либо студенту (мы их встречаем сейчас во главе некоторых «авангардистских» ресторанов), и увидим, как тот тысячей жестов станет подчёркивать дистанцию, которую будет стремиться сохранить, стараясь как раз изобразить своё положение в виде роли по отношению к функции, которая не соответствует представлению (социально конституированному), сложившемуся у него о своём существовании, то есть о своей социальной судьбе, для которой он не чувствует себя созданным и в которую он, по словам сартровского потребителя, не желает «быть навечно заточенным». И в доказательство того, что отношение интеллектуала к позиции интеллектуала не отличается какой-то особой природой и что интеллектуал не больше, чем официант, дистанцируется от своего занятия и от того, что по существу его определяет, то есть сохраняется иллюзия дистанции по отношению ко всем занятиям, достаточно прочесть как антропологический документ [18].

Анализ, в котором Сартр продолжает и «универсализирует» знаменитое описание официанта кафе: «Как бы я ни старался выполнить функции официанта кафе, я могу им быть только в нейтрализованной форме (как актёр — Гамлетом), механически воспроизводя жесты, типичные для моего положения, и рассматривая себя как воображаемого официанта кафе лишь через эти жесты, воспринимаемые как «analogon» (заменитель, субститут чего-либо — фр). То, что я пытаюсь реализовать, это существо-в-себе-самом официанта кафе, как если бы было не в моей власти придать ценность и неотложность связанным с моим положением обязанностям и правам и как если бы моё решение каждое утро вставать в пять часов или оставаться в постели, рискуя быть уволенным, не зависело от моего свободного выбора. Как если бы оттого, что я поддерживаю существование этой роли, я не выходил бы повсеместно за её рамки, не конституировал бы самого себя как бы зашедшего по ту сторону моего положения. Однако нет сомнения в том, что в определённом смысле я есть официант кафе, а если нет, то не мог ли бы я столь же обоснованно называть себя дипломатом или журналистом?» [19]. Следовало бы останавливаться на каждом слове такого рода чудесного продукта социального бессознательного, которое в результате двойной игры, допустимой благодаря образцовому использованию феноменологического «Я», проецирует сознание интеллектуала в практику официанта кафе или в воображаемый analogon этой практики, производя некую социальную химеру — чудовище с телом официанта и головой интеллектуала [20]: неужели нужно обладать свободой оставаться в постели, не подвергаясь риску быть уволенным, чтобы открыть для себя того, кто встаёт в

пять часов утра, до прихода клиентов подметает помещение и включает кофеварку, тем самым как бы освобождаясь (свободно ли?) от свободы оставаться в постели, несмотря на угрозу быть уволенным? Нетрудно распознать здесь логику нарциссического отождествления с фантазмом, согласно которой иные производят сегодня рабочего, целиком и полностью вовлечённого в «борьбу», или, наоборот, путём простой инверсии, как в мифах, рабочего, безнадёжно смирившегося с тем, кто он есть, со своим «бытием в себе», лишённого той свободы, которая другим даётся фактом располагать в числе прочих возможностей такими позициями, как у дипломата или журналиста [21].

Это означает, что в случае более или менее полного совпадения между «призванием» и «миссией», между «спросом», чаще всего имплицитным, молчаливым и даже тайным образом заключённым в позиции, и «предложением», скрытым в диспозициях, напрасно было бы стараться отличить то, что в практической деятельности обязано влиянию позиций, от того, что объясняется влиянием диспозиций, привносимых агентами в эти позиции и способных определять восприятие и оценку ими позиции, следовательно, и их способ удерживать эту позицию, а тем самым и саму «реальность» позиции. Эта диалектика, как ни парадоксально, не проявляется никогда столь отчётливо, как в случае с позициями, находящимися в зонах неопределённости социального пространства, а также в случае с профессиями, слабо «профессионализированными», то есть ещё недостаточно определёнными как с точки зрения доступа к ним, так и с точки зрения условий их выполнения: эти должности, скорее ещё подлежащие созданию, чем созданные, учреждённые, чтобы создаваться, предназначены для тех, кто является и чувствует себя приспособленным для готовых должностей, кто, в соответствии со старыми альтернативами, выступает против готового и за создаваемое, против закрытого и за открытое [22]. Определение этих плохо обусловленных, плохо отграниченных, плохо защищённых должностей заключается, как ни парадоксально, в свободе, какую они предоставляют занимающим их определять и отграничивать, свободно устанавливая их границы, определение и привнося всю ту инкорпорированную необходимость, которая является составляющей их габитуса. Эти должности будут тем, чем являются их занимающие, или, по крайней мере, те из них, кому удастся во внутренней борьбе в «профессии» и в конфронтациях с соседствующими и конкурирующими профессиями навязать самое благоприятное с точки зрения того, что они есть, определение профессии. Это зависит не только от них и от их конкурентов, то есть не только от соотношения сил внутри поля, где они располагаются, но и от соотношения сил между классами, которое вне всякой сознательной стратегии «восстановление контроля» определит не только социальный успех, получаемый от различных благ и услуг, произведённых в процессе борьбы и ради борьбы с ближайшими конкурентами, но и институциональную инвестицию, которой удостоятся те, кто их произвёл. А институционализация «спонтанных» размежеваний, которая постепенно происходит под воздействием фактов, то есть санкций (положительных или отрицательных), налагаемых на предприятия существующим общественным порядком (субсидии, заказы, назначения, зачисления в штат и так далее), приводит к тому, что впоследствии проявится как новое разделение труда в сфере господства, план которого не мог бы возникнуть в головах даже самых рассудительных и вдохновенных технократов [23].

Таким образом, оказывается, что социальный мир изобилует институциями, которых никто не задумывал и не желал, и даже явные «руководители» которых не могут сказать — даже после всего свершившегося и во имя ретроспективной иллюзии, — как была «изобретена формула», удивляются сами, что они [институции. — Прим. пер.] могут существовать в виде, в котором существуют, будучи столь хорошо приспособленными к тем целям, которые их создатели никогда формально не ставили [24]. Но эффект диалектики отношений между наклонностями, вписанными в габитусы, и требованиями, обусловленными определением должности, не менее существенны, хотя и менее заметны в наиболее регламентированных и закостеневших секторах социальной структуры, например в наиболее давних и кодифицированных профессиях служащих государственных учреждений. Так, далеко не будучи механическим продуктом бюрократической организации, некоторые наиболее характерные для поведения мелких служащих черты, будь то тенденция к формализму, фетишизм пунктуальности или строгое отношение к регламентации, есть проявления, в логике ситуации наиболее благоприятной для её перехода к действию, системы диспозиций, которая также обнаруживается и вне бюрократической ситуации и которой было бы достаточно, чтобы предрасположить представителей мелкой буржуазии к добродетелям, требуемым бюрократическим порядком и превозносимым идеологией «общественной службы», таким, как честность, аккуратность, ригоризм и склонность к моральному возмущению [25].

Эта гипотеза нашла экспериментальное подтверждение в происшедших в течение последних нескольких лет трансформациях в различных государственных службах, в частности в почтовой службе, в связи с появлением у молодых мелких служащих, оказавшихся жертвами структурной деквалификации, диспозиций, менее соответствующих ожиданиям институции [26]. Следовательно, нельзя понять функционирования бюрократических институций иначе, как путём преодоления надуманного противопоставления «структуралистского» видения, пытающегося выявить в морфологических и структурных характеристиках основу «железных законов» бюрократии, рассматриваемых как механизмы, способные ставить собственные цели и навязывать их агентам, видению «интеракционистскому» или социально-психологическому, стремящемуся представить бюрократическую практику как продукт стратегий и взаимодействий агентов, игнорируя при этом как социальные условия производства этих агентов (и в рамках, и вне рамок институции), так и институциональные условия осуществления их функций (такие, как формы контроля над рекрутированием, продвижением по службе или оплатой труда).

Правда, специфика бюрократических полей как относительно автономных пространств, образуемых институционализированными позициями, заключается в присущей этим позициям (определяемым их рангом, движущей силой и так далее) способности добиваться от занимающих их людей выполнения всех практических действий, входящих в определение их должности, и всё это — под непосредственным и очевидным, а следовательно, и ассоциируемым обычно с идеей бюрократии воздействием распоряжков, директив, циркуляров и так далее и особенно под воздействием совокупности механизмов призвания-кооптации, позволяющих адаптировать агентов к их должностям, или, точнее, их диспозиции к их позициям, а затем добиться от определённого органа официальной власти признания этих — и только этих — практических действий. Но даже в подобном случае было бы такой же ошибкой пытаться понять практические действия (обусловленные данным

моментом времени, то есть являющихся результатом завершения некоторой истории в том, что касается их числа, юридического статуса и так далее), исходя из имманентной логики пространства, как и пытаться объяснить их лишь на основе «социально-психологических» диспозиций — агентов, особенно если они отделены от их условий производства.

В действительности же здесь имеешь дело с исключительным случаем более или менее «удачного» столкновения между позициями и диспозициями, то есть между объективированной историей и историей инкорпорированной: тенденция бюрократического поля к «перерождению» в «тоталитарную» институцию, требующую полного и механического отождествления (*perinde ac cadaver*) «функционера» с функцией, аппаратчика с аппаратом, не связана механическим образом с морфологическими воздействиями, размеры и число которых способны оказывать влияние на структуры (например, посредством ограничений, накладываемых на коммуникацию) и на функции; эта тенденция может проявляться лишь в той мере, в какой она совпадает либо с сознательным сотрудничеством некоторых агентов, либо с бессознательным соучастием их диспозиций (что оставляет место для освобождающего воздействия осознания). Чем больше удаляешься от обычного функционирования полей как полей борьбы в направлении пограничных и, несомненно, никогда не достигаемых состояний, когда, с прекращением всяческой борьбы и сопротивления господству, поле всё ужесточается, сводясь к «тоталитарной институции» — в понимании Гофмана, или — в строгом понимании — к аппарату, который в состоянии требовать всего без всяких условий и уступок и который в своих крайних формах — тюрьма, казарма или концентрационный лагерь, располагает средствами символического и реального уничтожения «ветхого человека», — тем больше институция стремится пожертвовать своими агентами, которые все отдают институции (например, «Партии» или «Церкви») и которые тем легче приносят эту жертву, чем меньше у них капиталов вне институции, а следовательно, и свободы по отношению к ней и к тем специфическим выгодам и капиталу, какие он им предлагает [27]. Аппаратчик, всем обязанный аппарату, — это аппарат, ставший человеком, и на него можно возложить самую высокую ответственность, потому что он, добиваясь осуществления своих интересов, ничего не может делать, не способствуя *eo ipso* защите интересов аппарата: как монах, он предрасположен к тому, чтобы в полной убеждённости охранять институцию против еретических отклонений тех, кому капитал, приобретённый вне институции, позволяет и кого подбивает дистанцироваться от верований и внутренней иерархии [28]. Короче, в случаях, наиболее благоприятных для механицистского описания практических действий, анализ вскрывает некоего рода бессознательное взаимоприспосабливание позиций и диспозиций, составляющее истинную основу функционирования институции, даже в том, что ему сообщает трагическую видимость адской машины.

Именно поэтому наиболее способствующие отчуждению, наиболее отталкивающие и близкие к каторжному труду условия работы тем не менее, находят рабочего, который на них соглашается, берётся за их исполнение, воспринимает, оценивает, обустроивает, приспособливает их к себе и сам к ним приспособливается в соответствии с собственной историей жизни и даже с историей всего своего рода. Если описание наиболее отчуждающих условий труда и наиболее отчуждённых рабочих звучит так часто фальшиво — и прежде всего в том, что не позволяет понять, почему вещи продолжают оставаться такими, какие они есть, — то это оттого, что оно, следуя логике химеры, способно показать

молчаливое согласие, которое устанавливается между наиболее бесчеловечными условиями работы и людьми, подготовленными нечеловеческими условиями своего существования к тому, чтобы их принять. Диспозиции, запечатлённые посредством первого опыта социального мира, способные при определённом стечении обстоятельств предрасположить молодых рабочих принять и даже пожелать войти в мир труда, отождествляемый с миром взрослых, усиливаются затем самим опытом их трудовой деятельности и всеми изменениями в диспозициях, которые он за собой влечёт (и которые можно осмысливать по аналогии с описанными Гофманом как составляющими процесса «asilisation» изменениями). Здесь следовало бы напомнить весь процесс инвестирования, который подталкивает рабочих к тому, чтобы способствовать собственной эксплуатации уже самим своим усилием, направленным на овладение трудом и условиями своего труда, которое заставляет их привязываться к своей профессии во всех смыслах этого слова) в силу тех самых свобод (часто ничтожных и почти всегда «функциональных»), которые им предоставляются, а также, разумеется, под влиянием конкуренции, вызываемой различиями (между специализированными рабочими, иммигрантами, рабочими-женщинами и так далее), присущими профессиональному пространству, функционирующему как поле. Действительно, если исключить предельные ситуации, граничащие с принудительными работами, видно, что объективная правда наёмного труда — эксплуатация — становится отчасти возможной благодаря тому, что субъективная правда труда не совпадает с его объективной правдой. Об этом свидетельствует вызываемое ей (эксплуатацией) возмущение: профессиональный опыт, когда трудящийся не ждёт от своего труда (и от окружающей его рабочей среды) ничего, кроме зарплаты, переживается им как нечто калечащее, патологическое и невыносимое, потому что нечеловеческое [29].

То объективирующее усилие, которое потребовалось, чтобы конституировать наёмный труд в его объективной правде эксплуатируемого труда, заставило того, кто его осуществил, забыть, что эта правда должна была быть завоевана в борьбе против субъективной правды труда, совпадающей с объективной правдой лишь в пределе. Именно об этом пределе упоминает Маркс, когда замечает, что исчезновение разброса в нормах прибыли предполагает мобильность рабочей силы, которая в свою очередь предполагает, среди прочего, «безразличное отношение рабочего к содержанию его труда; возможно большее сведение труда во всех сферах производства к простому труду, освобождение рабочих от всех профессиональных предрассудков» [30]. При этом нельзя не вспомнить о существовании инвестирования в сам труд, что приводит к тому, что труд становится способным приносить специфическую прибыль, не сводимую к денежной прибыли: этот «интерес» к труду, который частично создаёт «интерес» факту трудиться и который является отчасти следствием иллюзии, присущей участию в определённом поле, способствует тому, что труд, несмотря на эксплуатацию, становится приемлемым для рабочего. Такое инвестирование в труд нередко способствует и возникновению определённой формы самоэксплуатации. Оно приводит к тому, что деятельность (например, у артиста или интеллектуала) переживается как свободная и незаинтересованная при соотношении с узким определением интереса, отождествляемого с материальной прибылью, с зарплатой, в действительности предполагает подсознательное соглашение между диспозициями и позициями. Это практическое взаимоприспособление [31], являющееся условием инвестирования, интереса (в противоположность безразличию) к обусловленной рабочим местом деятельности оказывается, например, реализованным, когда такие

диспозиции, которые Маркс называет «предрассудками профессионального призвания» и которые приобретаются в определённых условиях (например, в случае передаваемой по наследству профессии), находят условия своей актуализации в некоторых характеристиках самого труда, таких, как определённая свобода действий в организации производственных заданий или некоторые формы конкуренции в рамках трудового пространства (премии или чисто символические привилегии, как те, что предоставляются старым рабочим на мелких семейных предприятиях) [32].

Различия в диспозициях, равно как и различия в позициях (с которыми они часто связаны), лежат в основе различий в восприятиях и оценках, а тем самым — и совершенно реальных размежеваний [33]. Именно поэтому недавняя эволюция промышленного труда в направлении того предела, на который указывал Маркс, то есть в сторону исчезновения «интересного» труда, труда «ответственности» и «квалификации» (и всеми корреляционными иерархиями), весьма по-разному воспринимается, оценивается и принимается теми, чей стаж в рабочем классе, квалификации и относительные «привилегии» заставляют защищать их «завоевания», то есть интерес к работе, квалификацию, а также иерархии, и тем самым существующий порядок, и теми, кому нечего терять. Последние, будучи лишёнными квалификации и весьма близкими к народной реализации популистской химеры, подобны тем молодым людям, кто, пройдя через более длительный период школьного обучения, чем те, кто старше их, более склонны радикализировать борьбу и ставить под сомнение всю систему, — или же тем, наконец, кто, будучи также совершенно обездоленными, как рабочие первого поколения, женщины и особенно иммигранты [34], отличаются терпимостью к эксплуатации, казалось бы, характерной для другой эпохи [35]. Короче, в самых крайних условиях принуждения, внешне наиболее благоприятных для механицистской интерпретации, когда трудящийся сводится к его рабочему месту и непосредственно выводится из его же рабочего места, активность сводится к установлению отношений между двумя историями, а настоящее — к встрече двух видов прошлого [36].

Wesen ist was gewesen ist (Существо есть то, что существовало — нём). Можно понять, что социальное существо является тем, что было, но и то, что однажды было, навсегда вписано не только в историю, что само собой разумеется, но и в социальное существо, в вещи, а также в тела. Образ открытого будущего с бесконечными возможностями скрывал то, что каждый из новых выборов (идёт ли речь о нереализованных актах выбора в условиях *laisser-faire*) способствует ограничению универсума возможного или, точнее, увеличению веса институировавшейся в вещах и в телах необходимости, с которой должна считаться политика, ориентированная на другие возможности и, в частности, на те из них, которые ежеминутно отодвигались в сторону. В процессе институционализации, становления, то есть объективации и воплощения как аккумуляции в вещах и телах всей совокупности исторических приобретений, несущих на себе отпечаток условий своего производства и стремящихся породить условия собственного воспроизводства (хотя бы в силу демонстрации и навязывания потребностей, которые вызываются самим существованием какого-либо блага), постоянно уничтожаются параллельные возможности. По мере развития истории эти возможности становятся всё более маловероятными, их реализация — всё более трудноосуществимой, поскольку их переход в реальность предполагал бы деструкцию, нейтрализацию и реконверсию более или менее значительной части исторического

наследия, которое также является капиталом. О них всё труднее даже мыслить, поскольку схемы мышления и восприятия являются в каждый данный момент результатом предшествующих овеществлённых актов выбора [37].

Всякая деятельность, нацеленная на противопоставление возможного вероятному, то есть будущему, объективно вписанному в существующий порядок, должна считаться с грузом овеществлённой и инкорпорированной истории, которая, как при процессе старения, стремится свести возможное к вероятному. Разумеется, следует непрестанно подчёркивать, имея в виду всевозможные формы технологического детерминизма, что потенциальные возможности, предлагаемые относительно автономной логикой научного развития, могут обрести социальное существование только в виде технических достижений и выступать, если представится случай, в роли фактора экономических и социальных изменений опять же только в том случае, если тем, кто обладает экономической властью, они покажутся отвечающими их интересам, то есть способными содействовать максимальной прибыли на капитал в рамках воспроизводства социальных условий господства, необходимых для присвоения доходов [38].

Тем не менее, в качестве завершения длительной серии актов социального выбора, выражающейся в форме совокупности технических потребностей, технологическое наследие стремится стать настоящей социальной судьбой, исключаяющей не только некоторые возможности, находящиеся ещё в состоянии возможностей, но и реальную возможность исключения множества уже реализовавшихся возможностей. Достаточно напомнить о ядерных электростанциях, которые, будучи построены, заявляют о себе тем, что не только выполняют свои технические функции, но и создают всевозможные формы соучастия тех, кто тесно связан с ними или с их продукцией. Можно также напомнить о том политическом выборе, который наметился с 1960-х годов, значительно облегчив процедуру приобретения недвижимой собственности и обеспечив самые высокие прибыли банкирам и особенно изобретателям «персонализированного кредита». Всё это — вместо того, чтобы продолжать проводить политику социального жилья. Одним из последствий этого выбора, помимо прочего, было то, что он способствовал усилению лояльности части членов доминирующего класса, а также средних классов по отношению к существующему политическому строю, который казался им наиболее подходящим, чтобы гарантировать их капитал. Итак, с каждым днём власти констатируют рост необратимых изменений, с которыми вынуждены считаться те, кому вдруг удастся её свергнуть.

Это хорошо видно на ситуациях постреволюционных периодов, когда овеществлённая и инкорпорированная история оказывает глухое или подспудное сопротивление реформистским или революционным диспозициям и стратегиям, также в значительной мере обусловленным всё той же историей, против которой они направлены.

Институционализируемая история неизменно одерживает верх над частичными, точнее, односторонними революциями. Даже при самых радикальных изменениях в условиях присвоения орудий производства у инкорпорированной истории остаётся возможность незаметно восстановить объективные (экономические и социальные) структуры, продуктом которых эти изменения являются. С другой стороны, известно, что происходит с политикой, рассчитывающей на трансформацию структур в результате простой конверсии диспозиций [39]. Революционные и постреволюционные ситуации изобилуют многочисленными

примерами патетичных или гротескных несовпадений между историей объективированной и историей инкорпорированной, между габитусами, созданными для других должностей, и должностями, созданными для других габитусов, которые наблюдаются также при любом общественном порядке, хотя и в меньших масштабах, и особенно в зонах неустойчивости социальной структуры.

Во всех этих случаях деятельность носит характер борьбы между историей объективированной и историей инкорпорированной — борьбы, иногда длящейся всю жизнь, за то, чтобы сменить должность или самому измениться, чтобы завладеть должностью или самому быть превращённым ей в собственность (хотя бы для того, чтобы завладеть ей, трансформируя её). История творится в этой борьбе, в этой неявной битве, в ходе которой должности более или менее полно формируют тех, кто их занимает и стремится ими завладеть, когда агенты более или менее полно изменяют должности, перекраивая их по своим меркам. История творится во всех этих ситуациях, когда отношение между агентами и их должностями основывается на некотором недоразумении: это те руководители самоуправляющихся фирм, министры, служащие, которые сразу же после освобождения Алжира вступали в должность, в обличье колониста, директора, комиссара полиции, позволив чужеземной истории завладеть собой через акт повторного овладения [40]; это те освобождённые работники ВКТ, которые, как показывает Пьер Гам, прекрасно «узнают самих себя» в силу их классовых диспозиций в «Примирительном совете», одном из многочисленных институтов, созданных в XIX веке по инициативе «просвещённой» части доминирующего класса в надежде «примирить» хозяев и рабочих; этот типично патерналистский вид правосудия, обеспечиваемый «семейным трибуналом», в явной форме уполномоченный для отправления «отеческой» власти и урегулирования спорных вопросов путём совета и примирения на манер семейных советов и путём «десоциализации» конфликтов, встречает со стороны рабочих ожидание ясного и быстрого судопроизводства, а со стороны их профсоюзных представителей — «заботы о создании благопристойного образа рабочего класса» [41].

Таким образом, овеществлённая история играет на ложном соучастии, которое объединяет её с инкорпорированной историей, чтобы завладеть самим носителем этой истории: то же происходит, когда руководители в Праге или в Софии воспроизводят мелкобуржуазный вариант буржуазной роскоши. В основе своей такие хитрости исторического разума [42]. основаны на эффекте *allodoxia*, возникающей из случайного и неосознаваемого столкновения независимых исторических рядов. Как видно, история также является наукой о бессознательном. Выводя на свет всё, что скрывается как за доксой — непосредственным соучастием с собственно историей, так и за аллодоксией — ложным узнаванием, основанным на непознанном отношении между двумя историями, располагающим к тому, чтобы узнавать себя в другой истории — в истории другой нации или другого класса, — историческое исследование вооружает нас средствами истинного осознания или, более того, истинного самообладания. Мы без конца попадаем в ловушку смысла, который формируется вне нас, без нас, в неконтролируемом соучастии, объединяющем нас, историческую вещь с историей-вещью. Объективируя всё, что есть социально-немыслимого, то есть забытую историю, в самых обычных или самых учёных идеях — в омертвевших проблематиках, лозунгах, общих местах, — научная полемика, вооружённая всем тем, что произвела наука в постоянной борьбе с самой собой и с помощью чего она превосходит

самое себя, предоставляет тому, кто её ведёт, и тому, кто её на себе испытывает, возможность узнать, что он говорит и что делает, возможность действительно стать субъектом своих слов и действий и покончить с тем, что ещё остаётся необходимого в социальных вещах и в идее о социальном. Свобода заключается не в магическом отрицании этой необходимости, а в её познании, что не обязывает и не предоставляет права её признавать: научное познание необходимости включает в себе возможность деятельности, направленной на её нейтрализацию, а следовательно, и возможную свободу. Тогда как непризнание необходимости предполагает самую абсолютную форму признания: пока закон игнорируется, результат свободы действия, этой соучастницы вероятного, проявляется как судьба; когда же он познан, этот результат проявляется как насилие.

Социология всё ещё полностью остаётся тем, что из неё часто делают, — наукой, стремящейся к развенчанию, по выражению Монтеня, «мыслей, родившихся на кухне», подозрительным и злым взглядом, лишаящим мир его очарования и уничтожающим не только ложь, но и иллюзии, предвзятостью «редукции», облачённой в добродетель непреклонной мысли, только в той мере, в которой она способна и себя самое подвергать такому же допросу, какому она подвергает любую практику. Можно постигнуть истины интереса, лишь согласившись на постановку вопроса об интересе для истины и лишь проявив готовность рисковать наукой и учёной респектабельностью, превращая науку в орудие, служащее, чтобы её самое подвергать сомнению. И всё это — в надежде обрести свободу по отношению к той негативной и демистифицирующей свободе, какую даёт наука.

Примечания

1 Несомненно, именно в работе мобилизации, точнее, единения и универсализации и зарождается множество представлений (в их психологическом, а также правовом и театральном смысле), которые складываются у групп (и, в частности, у подчинённых классов) относительно их самих и их единства и которые затем конденсируются ими в целях борьбы (совершенно отличных от целей научного анализа) в «форс-идеи» или символы объединения («рабочий класс», «пролетариат», «кадры», «МСП» и так далее) и в таком виде нередко используются в высказываниях, вплоть до самых «учёных», о мире социального. Так, когда в силу подобного рода склонности к социальному романтизму, столь часто одушевляющему социальную историю, говорят о «рабочем движении», превращая эту сущность в коллективного субъекта непосредственно политизированной культуры, то рискуют завуалировать социальный генезис и социальную функцию этого стенографического обозначения представления, посредством которого рабочий класс участвует в производстве себя как такового (пусть здесь вспомнят о таких сложных операциях социальной алхимии, как представительство и манифестация) и частью которого, в качестве его условия и продукта, является то, что иногда также называют «рабочим движением», то есть совокупность синдикалистских или политических организаций, которые апеллируют к рабочему классу и функция которых заключается в том, чтобы представлять рабочий класс. Что же касается пессимистической мифологии и функционализма наихудшего толка, которым она направляется, то их успех, очевидно, определяется высокой эффективностью в полемике: они и в самом деле прекрасно применимы к противникам, которых необходимо дискредитировать, противопоставляя им

извне принцип, лежащий в основе их высказываний, публикаций и действий (например, «бумагомарака из епископата», «лакей капитализма»). Они также хороши в борьбе с такими институтами, как церковь, которую обычно антиклерикализм представляет как стоокое и сторукое учреждение, целиком ориентированное на реализацию своих объективных, то есть временных и политических целей. В то время как именно в их внутренней борьбе — как мы постараемся это показать в одной из ближайших работ — и через внутреннюю борьбу, цели которой не являются и никогда не могут являться исключительно и имплицитно временными, духовными лицами, вовсе не обязательно мыслящими их как таковые, вырабатываются стратегии, способные содействовать обеспечению экономических и социальных условий их собственного социального воспроизводства. Чтобы понять, например, то, что описывается как «сдвиг церкви влево» или «католичество», нужно заполучить средства для объяснения бесчисленных случаев индивидуальных превращений, через которые должны были пройти светские (а также духовные) лица, чтобы включить политику в их определение религии: роль духовных лиц, также вовлечённых в эту работу превращения, заключалась в том, чтобы сопровождать и согласовывать это движение, — задача для них тем более лёгкая, что, будучи профессионалами религиозного слова, они хорошо подготовлены для словоизлияний, а структура их организации воспроизводила, следуя логике клерикального поля, опыт, трансформации и оппозиции светского мира.

2 «Учёные и философы, весьма склонные к обобщениям, классификациям и очень плодовитые в создании новых слов и новых этикеток для обозначения воображаемых ими видов и классов, не являются теми, кто обеспечивает реальный прогресс в науках и философии. Нужно, следовательно, чтобы действительно активный принцип, принцип плодотворности и жизни — во всём, что способствует развитию разума и философского духа, — не усматривался лишь в способности абстрагировать, классифицировать и обобщать. Рассказывают, что великий геометр Жан Бернулли, с горечью обнаружив, что его современник Вариньон по всей видимости хотел присвоить себе его открытия под предлогом их обобщения, о чём не позаботился сам автор и для чего не требовалось больших творческих усилий, хитро заметил, заканчивая своё очередное выступление: «Вариньон нам всё это обобщит» (Cournot A. A. Oeuvres completes. T. II. Edite par J. C. Portents, Paris: Vrin. — p. 20).

3 Одним из тысячи примеров этого может служить жанр автобиографии. Нельзя, представляя «Исповедь» Руссо, не задаться вопросом: не положило ли это произведение начало автобиографическому жанру? А также не вспомнить тотчас о Монтене или Бенвенуто Челлини, или — всё более удаляясь во времени и пространстве — о святом Августине и оказаться обойдённым эрудитом (немцем), который в монументальной истории автобиографии (пример не выдуман) покажет, что истоки жанра следует искать на Ближнем или Среднем Востоке, и отыщет его первые намётки в седьмом письме Платона или в «Бруте» Цицерона. И избавиться от этого regressio ad inflnitum (движение назад до бесконечности — лат.) можно, только заменив вопрос об абсолютных истоках жанра вопросом о происхождении «современной» автобиографии. Но как начинать отсчёт «современности» и «модернизма» с Руссо, не вспомнив сразу же, что на звание «первого из современных» авторов могут претендовать святой Августин и Петрарка, не говоря уже о Монтене, «модернизм» которого несколько отличен. А это обязывает задаться вопросом: когда начинается современная «современность?» И в этом — вся жизнь эрудита.

4 Такого рода подспудная проблематика затрагивается в исследовании Натали Хейниш о конституировании поля французской живописи в XVII веке, которое вскоре должно появиться в печати.

5 Один из позитивных аспектов объективации отношения к предмету, с которым, следуя строгому методу, считается историк, как и социолог, заключается в том, что она позволяет вооружиться против спонтанной формы философии истории (и практики), которая определяет самый элементарный научный выбор. Именно здесь социология и история социологии и истории (и, в частности, избираемая ими обязательная проблематика, понятия, которые в них используются, разрабатываемые ими методы, а также социальные условия, в которых они используют это наследство) играют определяющую роль. Если эта полемика научного разума может также применяться против оппонентов, давая повод для своекорыстных недоразумений, когда «жертвы» защищаются, отождествляя себя с жертвами полемики и даже политического террора, эта полемика тем не менее, направлена прежде всего против того, кто её ведёт, против всего, что у него есть общего с тем, что он описывает. И от чего тот имеет некоторый шанс освободиться только путём настойчивой критики предмета науки, то есть границ, вписанных в социальные условия её производства. (Такое исследование границ, лежащее в центре рационалистического проекта, каким он представлялся Канту, прямо противоположно релятивистскому прочтению, как то часто было с неокантианскими работами в области исторической науки — всеми этими общими местами об историчности историка.)

6 Следовало бы проанализировать, какой смысл имеется в самом факте написания слова Революция в единственном числе и с большой буквы и, в частности, в самой гипотезе, согласно которой была одна революция, единая и неделимая, там, где можно было бы увидеть целую совокупность революций (крестьянские жакерии, голодные бунты, заговоры нотаблей и так далее), отчасти синхронизированных и грубо сочленённых друг с другом, что приводит к исчезновению вопроса о характере отношений между всеми этими революциями.

7 Bois P. Paysans de l'Ouest. Des structures économiques et sociales aux options politiques depuis l'époque révolutionnaire. Paris: La Haye, Mouton and Co, 1960. (Замечательно, что эта книга историка вдохновлена эксплицитным стремлением исторически осознать определённый социальный факт настоящего и поэтому вынуждена объективировать и — в большей мере, эффекты.)

8 Panofsky E. Essais d'icônologie, les themes humanistes dans l'art de la Renaissance. — Paris: Gallimard, 1967. — p. 15.

9 Hartmann N. Das Problem des geistigen Seins. Berlin: de Gruyter, 1933. S. 172.

10 Это, мне кажется, то, что поздний Хайдеггер и Мерлопonti (особенно в «Видимом и невидимом») стремились выразить на языке онтологии, то есть нечто «дикое» и «варварское» — я бы сказал просто: практическое — находящееся по «эту сторону» интенционального отношения к объекту.

11 Elias N. La société de cour. Paris: Calmam-Levy, 1974. — p. 75-76.

12 Единственная оставляемая игрой абсолютная свобода — это свобода выйти из игры посредством героического отказа, который, если только не основать новой игры, поддерживает атараксию (душевную невозмутимость. — Прим. пер.) лишь ценою того, что с точки зрения игры и *illusio* является социальной смертью.

13 «Король не удовлетворяется только иерархическим порядком, унаследованным от своих предшественников. Этикет ему предоставляет некоторую свободу маневра, которой он пользуется, определяя долю престижа каждого, даже в делах незначительной важности. Он извлекает выгоду из психологических ситуаций, являющихся отражением иерархических и аристократических структур общества, а также из соперничества придворных, постоянно борющихся за престиж и благосклонность, для того чтобы, умело дозируя знаки внимания, изменять значимость членов придворного общества и их ранг в зависимости от потребностей своей власти, тем самым создавая внутри общества напряжённость и по желанию смещая центры равновесия» (Elias N. Op. cit. — p. 77-78).

14 Несомненно, теория Аппаратов отчасти обязана своим успехом тому, что благодаря ей стало возможным абстрактное отвержение Государства и Школы, обеляющее бесчестье агентов и позволяющее им жить в раздвоении между профессиональной деятельностью и политическим выбором.

15 Вспомним Маркса, ссылающегося на революционеров 1789 года и их римские образцы, и подумаем о том, что бы он сказал, увидев события 1968 года и всех персонажей, прямо сошедших с экранов кинофильмов.

16 Функционер, напоминая, что «регламент есть регламент», настаивает на требуемом регламентом отождествлении «личности» с регламентом в ответ на чьи-либо апелляции к его «личности», его чувствам, его «пониманию», его «снисходительности» и так далее.

17 Как это прекрасно показывает Карл Шорске в случае с Фрейдом (Schorske C. *Fin-de-Siecle Vienna. Politics and Culture*. — New York, A. Knopf, 1980. — p. 181-203), возникающие на пути идентификации «психологические» и социальные препятствия неразрывно взаимопереплетены и должны были бы учитываться в комплексе в исследованиях, направленных на выявление причин отклонений от траектории, вписанной в социальную наследственность («неудачники», которые, правда, с другой точки зрения, могут оказаться удачниками, скажем, когда сын банкира становится артистом или художником).

18 Есть некоторая несправедливость в том, что мы используем в качестве объекта нашего анализа текст, чьё достоинство состоит в исчерпывающем объяснении — отсюда и наш интерес к нему — самых скрытых и даже самых секретных сторон жизненного опыта социального мира, частичные или неяркие проявления которого можно наблюдать каждый день. Sartre J.-P. *L'Être et le neant*. — Paris: Gallimard, 1942. — p. 100.

19 Сразу видна полезность замены лично-безличного «Я», оставляющего широкий простор для фантазмагорических проекций, осуществляемых социально определённым субъектом (коммерческими служащими, руководящими кадрами частного сектора).

20 Как я уже пытался показать в другом месте, эта склонность придавать «интеллигентность» отношению к положению рабочего для отношения к этому положению самого рабочего не обязательно исчезает в связи с занятием места рабочего на какое-то время в качестве наблюдателя или актёра. (Исключение составляет книга Николая Дюбоста «Флинс без конца», что делает её замечательным документом, вскрывающим, среди прочего, логику мифологизации и демифологизации рабочего класса.)

21 Всегда имеется спонтанная философия истории — и философия истории своей истории, то есть своей позиции и своей траектории в социальном пространстве. Эта своего рода «центральная интуиция», которая позволяет сориентироваться в отношении великих «теоретических» или «политических» альтернатив [данного] момента (детерминизм — свобода, «структурализм» — спонтанность, ФКП — гошисты и так далее) и в которой самым непосредственным образом выражается отношение к социальному миру, лежит в основе видения социального мира и принятия политических позиций, но также в основе внешне самых элементарных и безобидных решений в области научной практики. (Научность социальной науки измеряется её способностью конституировать такого рода альтернативы в качестве объекта и воспринимать социальные детерминанты актов выбора, которые определяются по отношению к этим альтернативам. И одна из трудностей письма в случае общественных наук связана с тем, что оно должно попытаться не подтвердить заранее и разоблачить прочтение, обусловленное в ходе анализа шаблонами, которые оно стремится объективировать.)

22 Надо было бы [и надо будет] под этим углом зрения проанализировать всю трансформацию в отношениях между доминирующими и подчинёнными фракциями внутри доминирующего класса, которая имела место во Франции в течение последнего двадцатилетия, то есть постепенное сокращение под влиянием различных факторов относительной автономии интеллектуального поля, — сокращение, самым значительным показателем которого является, несомненно, появление бюрократического мецената и в соответствии с этим — повышение веса по крайней мере численно) интеллектуалов, непосредственно, а иногда и административно связанных с тем или иным бюрократическим заказом. Основным последствием прямого финансирования исследований, осуществляемого под контролем специализированных функционеров, могло бы стать приучение исследователей к признанию определённой формы прямой зависимости от властей и внешних по отношению к самому производственному полю требований. Такие последствия возможны только при соучастии самих научных работников, точнее, благодаря соучастию между научными работниками (или, по крайней мере, теми из них, кто был больше всего заинтересован в гетерономии — по отношению к какой бы то ни было внешней власти) и авангардом технократии от науки, которую её противодействие (социально оправданного) доминирующим секторам бюрократии толкает на то, чтобы содействовать восстановлению (как выражается Жан-Клод Шамбордон) «технократического дискурса» перед лицом дискурса технократов. Для того чтобы это преодолеть и порвать с различными формами философии истории, которые путём возведения исторических процессов на большую высоту (или придания им глубины) тем самым ставят агентов с их часто неуловимой и едва ощутимой долей самостоятельности вне игры, следовало бы одновременно проанализировать структурные изменения (подобные изменениям, происшедшим в поле высших школ *grandes écoles* и в сфере воспроизводства размежеваний внутри

доминирующего класса) и бесконечную серию дифференцирующих социальных изменений, которые, незаметно накапливаясь, кладут начало совершенно новому состоянию интеллектуального поля и его отношений с полем экономической и политической власти. Следовало бы также проанализировать те неощутимые сдвиги, в результате которых менее чем за 30 лет интеллектуальное поле из состояния, когда было столь необходимо числиться коммунистом, что для этого даже не нужно было быть марксистом, перешло сначала к состоянию, когда быть марксистом стало столь престижно, что было даже принято «читать» Маркса, и, наконец, к состоянию, когда последним криком моды стал отказ от всего и прежде всего от марксизма. (Сколько в этой истории историй отдельных жизней! Сколько необходимости в этих сменяющих друг друга индивидуальных свободах!)

23 Это прекрасно показывает, например, Жан Таварес в исследовании (которое должно вскоре появиться в печати), посвящённом анализу генезиса и деятельности Католического центра французских интеллектуалов.

24 См. Пьер Бурдьё, Жан-Клод Пассрон: Воспроизводство: элементы теории системы образования. Bourdieu P., Passeron J. c. La reproduction. Elements pour une theorie du systeme d'enseignement. Paris: Minuit, 1970. — p. 227.

25 См. Bourdieu P. La Distinction. Paris: Ed. de Minuit, 1979. — p. 159-165.

26-27 См. Verdes-Leroux J. L'art de parti: le parti communiste fransais et ses peintres (1947-1954). // Actes de la recherche en sciences sociales, 1979. № p. 33-55 и её же работы, которые посвящены отношениям между коммунистической партией и её интеллектуалами.

28 Принятие позиций различными партиями и их эволюция во времени становятся тем более понятными на основе только внутренней истории штата кадровых работников и закона, стремящегося подчинить успех в аппарате полной адекватности логике аппарата, чем — как в случае Французской коммунистической партии сегодня — значительно в них доля инертных доверителей, бездействующих в силу их приверженности *fides intplicita* и самоотречения, или действующих, но лишь время от времени (ср. Bourdieu P. Op. cit. p. 500 и далее): это «молчаливое большинство», одновременно реальное и отсутствующее, служит гарантом «увриеризма», являющегося излюбленным, особенно когда используется против критики со стороны интеллектуалов, оружием кадровых партийных работников, выходцев из рабочих или из мелкой буржуазии или же представителей интеллигенции, которые, согласно основополагающему закону, тем более охотно вступают первыми в процесс взаимной легитимации, чем меньшим интеллектуальным капиталом они располагают, и поэтому усматривают для себя в объективном и субъективном планах больше пользы в репрессиях относительно более склонных к независимости интеллигентов.

29 Bourdieu P. & al. Travail et travailleurs en Algerie. Paris: La Haye, Mouton and Co, 1963; Bourdieu P. Algerie 60. Paris: Minuit, 1977.

30 Маркс К. Капитал. Том 3. // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Том 25. Ч. КС. 215.

31 Это соответствие между диспозициями и позициями не имеет, очевидно, ничего общего с «психологическим» подчинением, описываемым иногда как «наслаждение» («наслаждение фашизмом»), которое позволяет возлагать на подчинённых «ответственность» за испытываемое ими угнетение («власть исходит снизу»).

32 Логика мобилизации, согласно которой предпочтение отдаётся тому, что соединяет, в ущерб тому, что разъединяет, очевидно, не объясняет полностью тенденции рабочих организаций к игнорированию различий, связанных с жизненными траекториями. В этом вся логика политизации как усилия, направленного на «деприватизацию» опыта эксплуатации, а также привычка к механицистскому образу мысли, под влиянием которой даже наиболее тонкие и наиболее строгие попытки анализа условий труда (см., например: CFDT. *Les degats du progres*. Paris: Seuil, 1977) имеют тенденцию сводить рабочего к его рабочему месту, игнорируя всё, чем он обязан своему прошлому и что выходит за рамки его профессионального существования.

33 «Каким образом специализирующийся рабочий-ремонтник, который обдумывает свою работу, который её иногда любит, может упрекать капиталистический труд за то же самое, что и рабочий, в течение десяти лет прикованный к конвейеру?» (Dubost N. *Op. cit.* — p. 65).

34 Здесь также наблюдаются различия в степенях в зависимости от географического и социального происхождения и иммиграционного стажа. (см. Say ad A. *Les trois «ages» de l'immigration algerienne en France*. // *Actes de la recherche en sciences sociales*, 1977, № 15. — p. 59-79).

35 За внешними синдикалистскими размежеваниями часто скрываются размежевания, с которыми приходится иметь дело различным профсоюзам и которые по-разному воспринимаются и трактуются их руководителями в зависимости от собственной истории и особенно в зависимости от традиций их организаций. Нет сомнения, что восприятие и оценка как различных отрядов рабочего класса — в частности, пролетариата и полупролетариата, — так и их возможного вклада в революционную деятельность очень тесно зависят от позиций и социальных траекторий тех, кто, являясь интеллектуалами или активистами, обязан занимать позиции по этим проблемам, а также от их близости либо к «установившемуся» рабочему классу и его требованиям, либо к «нестойкому» рабочему классу с его бунтарством. Так что споры по поводу «обуржуазивания» рабочего класса и другие вопросы философии истории больше говорят о тех, кто в них участвует, чем о предмете спора. (см. Bourdieu p. *Le paradoxe du sociologue*. // *Sociologie et societes*. 1979. XI. № 1. — p. 85-94).

36 Руководствуясь подобной логикой, можно было бы описать отношения между рабочими и профсоюзными или политическими организациями: здесь также настоящее есть выявление двух видов прошлого, которые сами отчасти являются продуктом их прошлого взаимодействия (например, когда пытаются эмпирическим путём измерить степень осознания рабочими в каком-либо определённом обществе в данный момент времени его деления на классы или установить, какие представления они имеют относительно своего труда, своих прав, связанных с несчастными производственными случаями, увольнениями и так далее, то сталкиваются с эффектом прошлых действий профсоюзов и партий. И можно

предположить, что будь история другой, она породила бы и другие представления, а в той области, где представления в огромной мере способствуют формированию реальности, и другие реальности). Иначе говоря, представления, которые они имеют об их позициях, зависят от отношения между традициями, свойственными организациям (например, их размежевания), и их диспозициями.

37 Так, внезапное появление под влиянием студенческих волнений новых форм борьбы, в которых больше места отводится символическим манифестациям, ретроспективно выявило границы (даже цензурные ограничения), установленные рабочим движением, больше полагающимся на уже испытанные формы борьбы для своих отрядов.

38 Здесь также следует остеречься прочтения этого процесса в чисто телеологической логике, как это делает определённая наивная, притворно-радикальная критика науки: наука не обслуживала бы так хорошо промышленность (и даже, при случае, военную промышленность), если бы все исследователи (особенно те из них, кому их высокая компетентность, то есть их специфический капитал, позволяет и кого побуждает сохранять максимальную дистанцию в отношении внешних заказов) были непосредственно ориентированы на цели, достижению которых в конечном счёте смогут служить их открытия (следует также избегать характерной для сторонников криптократического взгляда переоценки способности руководителей рационально оценивать экономические и особенно социальные последствия взятых на вооружение открытий). Исследователи не знают и не признают других целей, кроме интереса (воспринимаемых как бескорыстные и, во всяком случае, предполагающих безразличное отношение к их возможному техническому использованию), который возникает в процессе конкуренции внутри относительно автономного научно-исследовательского поля. И они могут с чистой совестью отвергать как недостойные те формы практического использования их открытий, которые становятся возможными благодаря невольному совпадению некоторых продуктов научного поля и запросов промышленности.

39 Если верно, что история может пересоздать то, что историей и было создано, то всё обстоит так, как если бы требовалось время для уничтожения результатов работы времени, как если бы искусственные ускорения истории, которых в лучшем случае политическая воля может добиться, добровольно усиливая те из имманентных тенденций, которые отвечают её целям, или нейтрализуя путём насилия те из них, которые действуют в противоположном направлении, уравнивались за счёт тех следов, которые ускорения оставляют в экономических и социальных структурах (тоталитарная бюрократизация) и в умах и которые, как это видно на примере СССР, оказываются тем более долговечными (и тем более зловещими даже с точки зрения декларировавшихся целей), чем большим было насилие. (см. Levin M. *L'Etat et les classes sociales en URSS, 1929-1933. // Actes de la recherche en sciences sociales. 1976.1. — p. 2-31*).

40 Эксплицитное навязывание нам истории другой страны — «наши предки — галлы» — является лишь крайним и потому карикатурным выражением куда более коварных форм навязывания чужой истории через язык, культуру, но также и через предметы, институции, моду (следовало бы проанализировать под этим углом зрения наиболее скрытые каналы распространения американского империализма).

41 Cam P. Sociologie des Conseils de prud'hommes. Paris: Ecole des hautes etudes en sciences sociales. These de troisieme cycle, 1980. Un tribunal familial, le conseil de prud'hommes.

42 К ним следовало бы прибавить все те хитрости, которые производят структурные гомологии между различными полями и, в частности, всяческие двусмысленности, которым благоприятствует позиционная гомология между доминирующими-подчинёнными (в рамках поля доминирующего класса) и подчинёнными (в поле классов). Одной из наиболее показательных форм коммуникации в контексте недоразумения, которое делает возможной гомологию позиций при различии в положении, является та, что устанавливается между индивидами, хотя и принадлежащими к различным классам и тем самым глубоко разобщёнными, но объединёнными общностью неустойчивости их положения в своих классах, что предрасполагает их к восприятию и распространению трансклассовых дискурсов (например, дискурсов религиозных).

Версия #2

Зверобой создал 16 января 2026 21:37:33

Зверобой обновил 18 января 2026 04:00:15